

Рашид Валеев

34

Поэзия пророчества

Сибгата Хакима я частенько встречал на площади Свободы. Любил он очень площадь Свободы. То ли оттого, что название это было близко его свободолюбивому сердцу, то ли оттого, что поблизости жил от этой площади, находящейся в центре нашего тысячелетнего города. Вот идёт он, сложив руки за спину, устремив взгляд своих печальных глаз над домами в небо, шагает неторопливо, шевеля губами, будто разговаривая сам с собой. Увидев его, я долго не осмеливаюсь потревожить, нарушить уединённое состояние поэта. Затем всё-таки здороваюсь, он живо откликается, и наша нечаянная встреча, наши краткие вопросы-ответы перерастают в задушевную беседу. О себе он говорит односложно, зато тебя расспрашивает с необычайной заинтересованностью. Потихоньку беседа переходит в литературное русло, которое непременно впадает в безбрежное море поэзии и творчества. В глазах его, минуту назад печальных, вдруг зажигаются задорные огоньки. Разговаривая с ним, забываешь о житейских проблемах и невзгодах, которые незаметно превращаются в сущие мелочи жизни, поднимаешься душою ввысь и по-настоящему веришь в волшебную, всепобеждающую силу поэзии и литературы. Происходило это, наверно, по той простой причине, что был он не просто стихотворцем, умело рифмующим слова, а по большому счёту п о э т о м.

В те годы мы, молодые литераторы, только что прибывшие в Казань из деревень, никак не могли привыкнуть к закаменевшей душе города и поэтому чувствовали себя здесь сиротливо. Не было у нас тут ни родителей, ни близких, на кого могли бы опереться в трудные минуты жизни. Хотя физически, казалось бы, находились мы в городе, но души наши витали далеко отсюда – в родных краях. Потому-то и стихи наши были в основном посвящены милой сердцу деревне. И слёзы застилали глаза, когда сидя в казённом общежитии, мы слушали по радио до боли знакомые песни...

Когда я на взгорья твои поднимаюсь,
Я маревом влажным твоим умываюсь.
Ты делишься всем, чем богата, со мной –
И светом небесным и силой земной.

Когда на твои поднимаюсь я взгорья,
Как будто и не было боли и горя,
И очи лишь здесь почему-то влажны...
От ветра? От счастья? От тишины?

Смотри-ка, оказывается, и Сибгат Хаким, испытавший кошмары войны, прошедший огонь и воду, любит свою родную деревню и тоскует по ней точно так же, как мы. Точней сказать, что и мы любим и тоскуем так же, как он. В тяге к отчому дому, в потребности душевной теплоты родных и близких мы неизменно тянулись к поэту-фронтовику, аксакалу татарской литературы, собирались вокруг него. Нам не хватало родительской доброты, отцовского слова и поддержки. И Сибгат-ага был для нас в Казани и советчиком, и критиком, и вдохновителем, одним словом – духовным отцом, который пёкся о нас, литературных, подающих надежды недорослях, как о своих детях. В минуты, когда он хвалил нас или по-доброму мягко корил, мне казалось, что он вспоминает свои родные края, семью и горячо любимую мать, которой он посвятил немало стихотворений...

На последний родной поднимаюсь косогор,
И ржаной всколыхнётся простор;
Как мальчишки, что ждут «сююнче»* и хвалы,
Побегут за валами валы.

Тёмно-бурые волны ржаные, легки,
Побегут, обгоняя возки;
Побегут, добегут до родного села,
Где всю жизнь моя мать прожила.

За ветпунктом немного направо сверни –
И счастливая весть добежит...
Но в ограду погоста уткнувшись, они
Вдруг заплачут навзрыд.

Какая безмерная печаль, какие искренние порывы души и самозабвенная любовь уместились в этих стихотворных строках, которые в переводе, конечно, не передают всей гаммы чувств оригинала! Простые, доходчивые слова, сказанные безыскусственно, естественно, негромким голосом подлинного большого поэта безоговорочно распахивают створки сердец читателей, слушателей, всех, кто не глух к поэтическому слову. Так и должно быть, когда дело имеешь с настоящей поэзией.

Но как ни странно, для понимания, для восприятия поэзии Сибгата Хакима мне понадобилось немало лет. Не по зубам юнцу в своё время оказалось и творчество самого Габдуллы Тукая. Но здесь кроется такая разница: поэзия Тукая, его языковая и смысловая особенность, вообще мир великого поэта представлялись мне слишком сложными. Стихи же Сибгата Хакима, напротив, виделись слишком простыми. С годами эти поэты в моём представлении невероятным образом сблизились друг с другом и уверенно вошли в мою душу – навсегда и бесповоротно. Чем больше я думал о них, тем больше понимал, что Сибгат Хаким является самым талантливым шакирдом, с блеском прошедшим школу Тукая. Мне же самому, чтобы постичь всю глубину творчества этого великого поэта, казавшегося простым, надо было, оказывается, повзрослеть, набраться жизненного опыта и пройти школу, как Тукая, так и Сибгата Хакима.

Со стороны Сибгат Хаким казался человеком тихим и кротким. Даже когда сердился, говор его оставался ровным, сдержанным, невозможно было видеть его с кем-то ссорящимся, он не держал пламенных речей на митингах, тем не менее слова его были намного проникновенней многих выступлений записных ораторов. Свою мысль он доводил до собеседника неспешно, ненавязчиво, и

* Сююнче (там.) – гостинец.

негромкий голос его в конечном счёте оказывался слышней и глубинней, чем у других не менее авторитетных литераторов. Он всегда был искренен, несмотря ни на что, не двурушничал, в своей позиции оставался непоколебим, и с ним считались коллеги по писательскому цеху, высокие чиновники и все, кто читал его и имел возможность слышать.

Из-под пера поэта, который был не бросок на внешность и, как я уже говорил, неголосист, а в поведении обыденном, казалось, тих и смирен, иной раз вылетали такие дерзкие мысли, такие откровения, что приходилось порой опасаться за его благополучие в «стране строящегося коммунизма»...

**Ждут своих новых поэтов тюрьмы,
Знававшие Джалилей.**

Ведь то были времена, когда ещё не отзвучали отголоски жуткого культа личности, когда в ту самую, освободившуюся, тюрьму мог угодить и сам автор этих строк.

Духовным путеводителем и основой крепости его души было творчество Габдуллы Тукая. С его именем, как с молитвой, начинался каждый новый день поэта, каждый новый замысел. Сибгат Хаким боготворил Тукая, досконально знал его жизнь и творчество, учился жить и творить на его примере, потому, должно быть, и овладел такими поэтическими красками, которые со временем не тускнеют, а порой так сверкнут, так озарят, что невольно воскликнешь: «Это же чистой воды пророчество!» А как иначе можно истолковать один лишь его возглас в поэме «Комната № 40» (или «Сороковой номер»): «Продали!», где речь идёт о номерах «Булгар»?! Такое впечатление, будто Сибгат Хаким всё ещё с нами, будто вместе с нами он знает, что последнюю обитель Тукая варварски порушили и стихотворение это он написал только сегодня.

**Тукай – язык мой. Равного не знаю.
Он – школа, свет, когда вокруг темно.
К своим истокам, родине, к Тукаю,
Я верю, ты вернёшься всё равно.**

**И помни, помни: есть на свете «Булгар»,
Трагический, как жизнь, сороковой...
В том номере – душа... Тукай не умер!
Сходи – он сам поговорит с тобой.**

И вдруг как гром среди ясного неба, как разряд молнии в глухой ночи:

**Тревожный угол... А тоска какая
Охватит вдруг – среди бела дня, в ночи,
Когда эпоха детским голосом Тукая
Одно лишь слово: «Продали!» – кричит.**

Эта поэма написана сорок лет назад. И трудно не восхититься прозорливостью поэта. Хотя история всемирной поэзии знает немало случаев удивительных предсказаний великих поэтов. Наверное, ясновидение есть одна из главных составляющих большой поэзии. Нет – не наверное. Большая поэзия – всегда пророчество.

«Тоска-печаль» и «судьба», пожалуй, самые востребованные слова в творчестве Сибгата Хакима. Его всегда волновала судьба нации, судьба народа, а она, как известно, более чем печальна.

За полгода до своей кончины, 16 января 1986 года, он записал в своём дневнике: «Буран, холодно, тяжело дышать... В Союзе писателей было собрание. До

дому меня проводил под руку Радиф. На войне так выводили с переднего края раненых. Фронт вспомнился. Случалось, и сам раненых вытаскивал. Литература – тот же передний край. Но для меня он кончился. На обоих фронтах воевал до конца. Душа спокойна, упрекнуть себя ни в чём не могу...»

Кажется, в эти печальные слова уместилась вся его судьба, весь жизненный и творческий путь поэта-фронтовика.

В нашу бытность вокруг Сибгата-ага постоянно собиралась молодёжь – поэты, певцы, художники, композиторы... Творчество и молодость для него были понятиями неразрывными. Хоть и перебирал он уже последние косточки своих жизненных чётков, держался стойко, никак не хотел он сдавать позиции неумолимой старости. В своём стихотворении, которое потом зазвучало песней, он писал:

Ивы детства, если я не вам,
То кому печаль свою открою?
Стар я стал, подобно деревьям,
Я, подобно вам, скриплю порою.

Перевод Рувима Морана

Замечательный певец Рафаэль Сахабиев, встречаясь с другим замечательным человеком, писателем Аязом Гилязовым, каждый раз исполнял его просьбу – пел эту песню. Выживший в тюрьмах, заставлявший своим зычным голосом дрожать стены Дома печати, Аяз-абый уже после первого куплета отворачивался в сторону, чтобы спрятать слёзы на глазах. А когда уж песня доходила до слов:

Вместе в юной милой кутерьме
Мы росли. Но где тех лет порывы?
Кто теперь в родимой стороне
Голову пред вами склонит, ивы? –

то уж вообще начинал всхлипывать, как младенец. А Сибгат-ага, печально улыбаясь, поглядывал на него со стороны сухими, лишёнными слёз глазами, будто писал стихотворение это вовсе не о себе, а специально посвятил другу Аязу и его судьбе. Мы же, молодые поэты, присутствовавшие при этом действе, сидели, боясь перевести дух, точно были свидетелями какого-то таинства, момента постижения высшей истины. Так сильно действовали на нас стихи, песня, переживание взрослых, познавших жизнь людей.

Сибгат-абый по своей натуре был человеком влюблённым в жизнь, верящим в людей, в их светлое предназначение. Каждое его произведение проникнуто любовью к родной стороне, родному народу. Стихи его излучают свет, доброту, и они проникают в самые потаённые уголки твоей души, наполняя её живительными соками и энергией. Услышав о кончине учителя, я не смог в ту ночь уснуть и, стараясь выразить свои чувства, выплеснул их на чистый лист бумаги:

Ещё вернусь

Памяти Сибгата Хакима

Всегда поэты сыщутся меж нами,
Покуда есть на свете жизнь и смерть.
Но с юных уст слова слетают сами,
А если сед – попробуй песню спеть.

Помчись попробуй снова за мечтою
Под грузом тяжким каравана лет;
И всё ж спеши, не медли нажитое
Раздать идущим за тобою вслед.

С небес высоких льётся свет Тукая,
Туфана свет... Что рядом с ними твой?..
Судьба моя пусть схожа с облаками,
Но в них порою блещет луч сквозной.

Я был влюблён в весеннее кипенье
И в миражи у лета в вышине.
Те, кто любви изведал притяжение,
Не позабудут, верно, обо мне;

Уйду я – и над озером Лебяжьим
Взойдёт, как дымка, ласковая грусть...
И. может быть, издалика однажды
Я лебедем к воде его вернусь.

Перевод Бориса Вайнера

Когда желают человеку долгих лет, говорят: «Живи до ста лет!» Поэт Сибгат Хаким ушёл из жизни, когда наша общественность широко отмечала 100-летие великого Тукая. Нынче же сто лет исполнилось бы ему самому. Интересны судьбы больших поэтов. Их давно уже нет на белом свете, а мы продолжаем с ними общаться, разговаривать, размышлять над когда-то сказанным словом. Мало того, с годами они становятся нам всё ближе и ближе.

Так и Сибгат Хаким. Поэт-фронтовик, мастер, учитель, в течение полувека бывший на передовой нашей литературы, бережно введший в мир поэзии десятки молодых поэтов, становится для нас всё ближе, дороже и понятнее. Когда слушаю его песню об ивах, то каждый раз возвращаюсь в то состояние, когда мы, юные и крылатые, впитывали её в себя, боясь и пошевелиться в присутствии автора.

Есть два вида памяти.

Человека помнят, пока живы его близкие и друзья, пока есть люди, которые общались с ним, которые видели его и слышали.

Поэта помнят, пока живы его стихи, пока листаются его книги и звучат его песни.

Оба вида этой памяти о поэте и человеке Сибгате Хакиме мы имеем и бережно храним.

